



19

непреодолимой неправды и коварства. Или его Эдип, обреченный видеть...

Но более всего мне хотелось бы не помнить самого Крейчу, приезжавшего после триумфальных своих постановок в Париже, Стокгольме, Брюсселе в Прагу, где его ждали пустота, безысходность и безнадежность. Не помнить отчаяние этого сильного человека, нужного всему миру и не нужного своей родине.

Может быть, действительно, я когда-нибудь все это забуду. И вспоминать буду только одно: какими прекрасными становились лица моих друзей, когда появлялась хоть какая-то надежда или что-то, отдаленно предвещавшее ее. Как в эту же секунду начинали строиться планы. И как ни у кого не было ни малейшего сомнения в том, что всем следует быть вместе с Крейчей. Как отступала и рассеивалась безысходность и приближался такой ясный и такой манящий силуэт его — Крейчи — театра.

Я часто думаю: какой силой надлено искусство этого человека, какой волшебной властью над людьми! Оно позволило очень многим просто жить, не задохнуться в вязком воздухе безвременья. И начать все сначала. Впрочем, нет, не сначала, а так, как будто все было только вчера, и не было этих долгих восемнадцати лет.

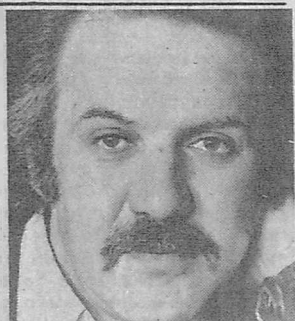
В жаркие июльские дни прошлого года в Праге происходило на самом деле нечто фантастическое: репетиции «Вишневого сада». Репетиции в реабилитированном и восстановленном во всех своих правах Театре за браноу. О них я напишу отдельно. Сейчас скажу только о том, что мгновения счастья, оказывается, могут возвращаться. Еще далеко было до премьеры, никто не знал, где доведется играть театру — прежняя его сцена пока была занята. Но счастье уже неотступно витало в репетиционном зале. И ему нельзя было не подчиниться.

Я смотрел на Крейчу и думал: так, наверное, чувствуют себя скитальцы и странники, вернувшиеся в свой дом и обнаружившие, что в доме этом их ждали, верили в их возвращение и ничего не меняли, точно знали: вот откроется дверь и на пороге появится тот, о ком здесь не забывали ни на минуту.

Мария Томашова репетировала Раневскую. И вновь летали ее руки, и снова чарующе звучал ее голос. И опять она играла то, что играла всегда: любовь. Любовь, которой только и могли жить ее героини. Но в какие-то моменты мне казалось, что актриса играет еще и другое. «О, сад мой!» — это звучало у Томашовой как: «О, моя жизнь! О, единственный мой театр!»

Георгий КОВАЛЕНКО.

## ПРОЩАЙТЕ, ВОСПОМИНАНИЯ!



**М**НОГО лет всякий раз, когда я бывал в Праге и когда в Праге шел дождь, меня тянуло на Национальный проспект, к дворцу Адрия. Там, если встать на противоположной стороне, можно было разглядеть, как над одной из арок дворца сквозь промокшую штукатурку проступает надпись: Divadlo za branou. С каждым годом рассмотреть ее становилось все труднее, вода размывала буквы, и я порой простаивал очень долго в надежде прочитать полностью знакомые слова. Я был уверен: что-нибудь непременно случится, если эти буквы исчезнут совсем. И всякий раз меня тянуло туда, чтобы убедиться: струи дождя все же бессильны смыть надпись до конца. Как описать мои ощущения — не знаю. Разве что строчками стихов Витеслава Незвала, например:

Меня в сердце что-то толкает,  
И закушены губ края.

С годами, и правда, воспоминания

## «О, сад мой!»

становились не похожими на воспоминания, а на что-то причудлившееся, приснившееся, не бывшее никогда реальностью.

Но это было. Был реальностью пражский Театр за браноу. Один из самых известных в мире. И реальностью было то, что июньским вечером 1972 года, сыграв чеховскую «Чайку», он перестал существовать, убитый несколькими строчками правительственного указа. Театр уничтожили только за то, что его создатель Омар Крейча не нашел слов одобрения августовским событиям 1968 года. Их ждали от него достаточно долго. Это было важно, чтобы именно Крейча в ореоле всемирной его славы встал на сторону нового режима. И такая идея, я помню, витала в умах: ну что делать, нужно смириться, выступить по радио или в газете — зато театр будет спасен. Такую идею Крейча отверг сразу. И тогда, и потом он не раз повторял: художник не имеет права на неправду, я не смог бы репетировать, мне не верили бы мои актеры.

Боже мой, какими долгими, бесконечными, беспросветными были потом целых восемнадцать лет. Разошлись кто куда актеры, вернее, кого куда взяли. И все эти годы были они отверженными, врагами, диссидентами. Как-то, конечно, жили, что-то даже играли. Но все было похоже на тяжкую летаргию, на кошмарный сон.

Я бы хотел забыть навсегда выражение глаз Марии Томашовой, лучшей актрисы чешской сцены, лишенной этой сцены в зените своей красоты, таланта и славы. Такими глазами, наверное, смотрела бы на мир ее Маша из «Трех сестер», Маша, навсегда простившаяся с Вершининым, с Москвой.

Я бы хотел не помнить никогда горькую улыбку Яна Тршиски. Так мог, наверное, улыбаться его Тузенбах, если бы выпало ему жить среди